



Юлии Гнатышак

Я буду снова. Как-нибудь потом.
Я буду. Завтра или послезавтра,
родившись снегом, деревом, котом,
весенним ветром, заревом, базальтом —
я буду, но ни слова не скажу,
не напишу и буквы все забуду.
Я семечко, летящее в между,
смирненно покорившееся чуду.
Я то, что не записано в тетрадь,
не издано, не проклято, не стерто.
(Не существует — незачем стирать.)
Я тонкая трепещущая хорда,
протянутая с неба до земли —
я и была такой, но кто б заметил...
Смотрите, в расцветающей дали
я снова есть.
Я облако.
Я ветер.



Д. Б.

Почитай мне, пожалуйста. Наговори свои рифмы
на железную воду (набрал из-под крана в Твери).
Я приду к тебе трезвым, надушенным, даже побритым.
Почитай мне стихи. За дорогой торфяник горит.
Влажный утренний воздух во двор оседает туманом,
невеселый узбек с матерками заводит КамАЗ
под мелодию Круга. Мне грустно и чуточку странно,
почитай мне стихи, даже если там все не о нас.

Я закрою глаза, я зашторю усталые веки,
как ослепшие окна в квартире, в которой не жил.
Почитай мне стихи о любви и нетающем снеге.
Почитай мне стихи. По дорожке ребенок бежит,
и хохочет, и кружится под тополями,
что засыпали клейкими почками серый бетон.
Я уйду от тебя, оборачиваясь и петляя,
с опустевшей пол-литрой.
Без мыслей, что будет потом.



Суббота. Солнце. Старый сад.
На спиле сок, как кровь на плахе...
Но зелень рвется сквозь опад,
землей воскресшей снова пахнет.
Из почки тянется листок,
и я смогла поспать, не плача,
и робкий золотой цветок
под пальцами так много значит.
Люблю, любима. Дочь и мать.
Хожу под Богом. Верю в чудо.
И веточку хочу сломать,
И не ломаю почему-то...



В шесть часов проснуться от озноба
и смотреть на электрод утра.
Господи, зачем ты сделал, чтобы
вместо сердца у меня дыра,
черная, горелая, сквозная,
пустотою полная, была?
В мир оттуда смотрит неземная,
мраком багровеющая мгла...
Холодно. Бессильем сводит руки,
и как будто отняты слова.
Поднимаюсь. Надеваю брюки.
Кофе ждет глумная голова.
Господи! Зачем ты это сделал?
Кофе выпит, но меня знобит,
Залит серым и немного белым
из окна индустриальный вид,
Где-то там за серым скрыты звезды,
и оттуда: — Не сходи с ума.
Я тебя из праха взял и создал,
все испортить ты смогла сама.



Я мешаю золото с серебром,
я мешаю курево и вино
и твоим прокрадываюсь двором.
За окном темно.
За окном, за кактусом, через тюль,
где забор и старый зеленый дом,
ты вдали высматриваешь июль.
Я — видна с трудом
сквозь тоску и ревность, сквозь города.
Отрезая от сердца тебя как часть,
я стояла, плакала. Как тогда —
и стою сейчас.
Помнишь, это было же, это бы
ложью звать не стоило, но слова
покидали губы, как воробьи.
На дворе трава...
Я мешаю вечно — тебя с собой,
я мешала, но я не буду, всё.
В плеере «Агата»: окончен бой,
Бог тебя спасет.
Не пиши, пожалуйста, не маши,
я следы запутываю, и в лес.
Через тюль ты выглянешь — ни души.
Никаких чудес.



С. Михне

Если знать, что земное конечно, а звёздное колко,
но и то, и другое ложатся в основу основ,
незнакомый поэт с по-пацански подстриженной чёлкой
бандеролью почтовой отправит мне книгу стихов.
Она будет простой, в безыскусной белесой обложке
(красота оформления — миссия членов ЛИТО),
но от строчек — под сердцем огонь и мурашки по коже.
Книга пахнет бумагой. Минувшее пахнет тщетой.
Набухающий лед пахнет памятью, водкой, весной,
раскисающей почвой, названьями канувших сёл...
Незнакомый поэт, может быть, даже выпьет со мною.
Захмелев, на два голоса станем читать из Басё.
Нам обоим не светит стать пунктами школьного курса,
местный критик лысеющий не достоин руки.
Но без этих стихов будет холодно, страшно и пусто,
потому что они настоящие, эти стихи.



в твери все обычно
под колесами «москвича» пострадал нетрезвый
отпущен домой
в коротких сводках в адских печах
горят мои сутки
попахивает тюрьмой
и землей немного местный несытный хлеб
в подворотнях пиво и героин
очередной авгий вычищает наш древний хлеб
чтоб на этот хлеб намазывать маргарин
в кафе на набережной
с видом на волжский лед
сизжу
с телефона читаю карамзина
он плакал в твери еще в тысячу восемьсот
весна



Все нормально. Мир живет и может.
Водка есть. Войны пока что нет.
Повариха добрая положит
заводских печеночных котлет.
Не жалея, к ним плеснет подливой.
Я залипну в вымытом окне,
думая, как просто быть счастливой,
и как трудно быть счастливой — мне.
Все нормально. Ветер воеет в ветках.
Ровно в пять я выйду с проходной.
Будет сон —
пока что, на таблетках,
но не будет мыслей: что со мной?
Не жалею, не зову, не каюсь,
дни идут, размеренно-темны.
Все нормально. Я жива. Я справлюсь.
Главное — чтоб не было войны.



Саше Аносову

Мальчик застенчивый слушает диск Успенской.
На Дерибасовской лето, кабриолет
розовый едет. Мальчик измучен спешкой,
снегом, работой. У мальчика счастья нет.
Где-то на Брайтоне шепчущими губами,
хриплыми ногами гладит свой микрофон
дальняя женщина. Мальчик бредет дворами.
Зимняя Тверь искажается в странный сон;

в страшный, и мальчику холодно и погано,
мальчик не хочет в пустую квартиру — спать
снова один. Но, как черный курок нагана,
stop нажимает и падает на кровать.

Он засыпает. Спать — это ведь не спиться,
это полезно, и будто бросает вспять.
Мальчику снится стареющая певица,
Мальчику снится, что он не один опять.



Радищев матерился точно так,
как я, увязнув в расписные хляби.
— Опять застряла! Погоняй, дурак!
У трав по берегам дорог оттенков жабий,
их трогаешь, и на ладонях грязь
от тысяч здесь проехавших, прошедших.
— Ну, мертвая! Резвее понеслась!
Кто бродит тут? Слепец и сумасшедший
меж Питером блуждает и Москвой.
Шаверма, шаурма... Бордюры, поребрики...
Радищев спит, кивая головой —
он так войдет в нечитанный учебник.
Все тот же мост, и там опять ремонт,
как в тысяча семьсот бог весь каком-то,
и бригадир — пьянчуга, идиот,
мерзавец, вор; и тянется раскопка.
Здесь экскаватор водит крепостной,
и барин наземь харкает из «прадо».
Радищев, милый, выпейте со мной,
не откажите, нам обоим надо!
Похмелье. Тошно. Значит, я живу.
Я, значит, еду. — Н-но, пошла, подруга!
Беспечный путь из Питера в Москву,
Дорога от Москвы до Петербурга.



Любови Старшиновой

Нет скотины в гнилых загонах,
иван-чай растет на углях.
Сено в вакуумных рулонах —
кости, брошенные в полях,
зарастающих с перестройки
бесноватым березняком.
Вон таджик гонит стадо с дойки,
хлещет кнутиком-матерком...
Померла в крайнем доме бабка —
та, что помнила две войны.
У забора осталась тятка,
на веревке висят штаны.
Кроме дачников, люда нету,
и поэт пенсионных лет
наживляет на рифму к лету
им не виданный бересклет.
У него — колосится поле,
новый сборник выходит в свет...
Самогонки нажраться, что ли,
видеть то, чего нет как нет...
Здесь, в трехстах верстах от столицы,
ворон кычет, как Гамаюн,
тень Есенина матерится
и запахивает зипун.



Как же я хочу с тобой спать!
Просто, обняв поперек и вдоль
всею собой. Укрывать тебя, покрывать,
быть тебе — юдоль.
Быть тебе — Юдифь.
Олоферну кошмарных снов,
не щадя, по жилам вести мечом
и будить —
до того, как вновь
морозом на горло надавит черт.
Я хочу
свежую соль с куполка лба
ныне и присно слизывать тихим ртом
по чуть-чуть...
И знать, что это моя судьба
на сейчас и потом.

